

Ф. И. ТЮТЧЕВ О ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 1870—1873 гг.

Сообщение К. Пигарева

Обширная и в значительной части еще неизданная переписка Ф. И. Тютчева—ценный источник для истории политической и общественной жизни России и Запада.

Круг вопросов, затронутых в переписке Тютчева, настолько многообразен, что, независимо от первостепенного значения ее в целом, представляется достаточно оснований для выделения некоторых полноценных групп тютчевских писем в самостоятельные очерки. Одну из таких групп образуют многочисленные письма поэта о французских политических событиях 1870—1873 гг.—франко-прусской войне и Третьей республике. С этими-то письмами Тютчева, частью в полном виде, частью же в извлечениях, я и считаю уместным познакомить читателя на страницах сборника, посвященного франко-русским отношениям.

І. ТЮТЧЕВ О ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЕ.—ПРЕБЫВАНИЕ ТЮТЧЕВА ЗА ГРАНИЦЕЙ В 1870 г.—ТЮТЧЕВ О КОММУНЕ

В июле 1870 г., уступая настояниям близких и советам своего петербургского врача, Тютчев отправился лечиться в Карлсбад. Он ехал с неохотой: ему не улыбалось пить воды и чувствовать себя за границей на положении больного, подверженного определенному режиму. Он был уже стар; его страшило все «отдаленное, чуждое и неизвестное»¹. В таком настроении приехал он в Варшаву.

И вот здесь, в Варшаве, Тютчев узнал, что 15 июля французский сенат и законодательный корпус вынесли решение о войне с Пруссией. Он спешит тотчас же написать об этом жене: «По приезде моем сюда я узнал, что война объявлена. Это все равно, что начало конца света. Воздерживаюсь от размышлений, ибо ум человеческий приведен в замешательство и оцепенение ввиду подобных возможностей... Я едва могу писать, до того я чувствую себя нервным». Политические новости захватывают Тютчева. В нем пробуждается его обычная страсть к зрелищу. «Здоровье мое довольно сносно,—прибавляет он,—и само путешествие для меня уже начало лечения». И теперь он торопится продолжить это лечение; не теряя ни минуты, решает он ехать в Берлин, ссылаясь на то, что это кратчайший путь в Карлсбад. Но дело тут не в карлсбадских водах, а в том «невыразимом возбуждении», какое он рассчитывал застать в Берлине².

Ленивый на письма, Тютчев теперь не скупится на них: его одолевает потребность делиться с другими своими мыслями и предвидениями. Пожалуй, ни одно политическое событие, за исключением крымской кампании,

не нашло такого яркого отражения в переписке Тютчева, как франко-прусская война.

Еще весь охваченный тем «невыразимым возбуждением», под влиянием которого у него едва хватило сил набросать коротенькое письмо жене из Варшавы, Тютчев пишет своей дочери Анне 19/31 июля 1870 г. из Карлсбада:

«... Теперь мы положительно стоим перед лицом того европейского кризиса,—задетые уже не тенью его, а дыханием,—того кризиса, предчувствие коего тяготело над миром, подобно кошмару, в течение двух поколений—той эпохи крови и разрушения, которая с 1851 года была предугазана мне в ближайшем будущем под страшным наименованием: Великая Резня народов. Ах, я понимаю, что Аксаков должен быть глубоко огорчен, видя себя обреченным людскою глупостью на молчание в настоящую минуту, и не он один это оплакивает, ибо никто не смог бы лучше его подчеркнуть отличительные черты начинающегося кризиса, так же как никто лучше его в его газете не уловил истинной сущности бонапартизма, этой силы неограниченного зла—насилия и лжи, влияющей таким ужасным образом не только на Францию, но на всю Европу, лишь потому, что она является наиболее совершенным выражением худших инстинктов современной эпохи. В этой силе положительно не без Антихриста...

Что до нас, до России, то невозможно, мне думается, не признать в том, что совершается, путей провидения, покровительствующих ей. Западная Европа, как сила совокупная, окончательно сокрушена, и отныне наше будущее широко раскрыто перед нами...»³.

Тютчев наиболее охотно обращался с такими «прорицаниями» к своей старшей дочери, Анне. Это не значит, что с ее стороны он встречал особенное сочувствие. Вовсе нет. В ее глазах эти предвидения были лишь «обычными иллюзиями» ее отца⁴. Но она была женой И. С. Аксакова, и, обращаясь к ней, Тютчев в то же время обращался к нему, а в его лице—к близким Тютчеву по духу славянофилам. Тем самым он как бы оправдывал меткое словцо М. де Вогюз, назвавшего Тютчева «тестем славянофильской партии» (*le beau-père du parti slavophile*)⁵.

Тютчев оплакивает вынужденное молчание своего зятя, которому с 1868 г., после правительственного закрытия его газеты «Москва», была запрещена публицистическая деятельность. Говоря о том, что никто лучше Аксакова «не уловил истинной сущности бонапартизма», Тютчев имеет в виду его статьи 60-х годов о Второй империи. С наибольшей отчетливостью точка зрения Аксакова по данному вопросу выражена в передовой статье газеты «День» от 2 ноября 1863 г. За «наполеонидами», по мнению Аксакова, «признается... как будто особая привилегия инициативы в политике, как будто какое-то право вносить в обычный органический процесс истории—внушения личного ума, личного духа, смущать мир, держать в тревоге народы и государства...» «... Сама личность наполеонидов является одним из условий развития, историческим двигателем западного человечества, какою-то историческою силою, но не случайною, а органически порожденною духовною природою Запада. В них западное начало личности возрастает до степени мировой революционной силы, до титанического величия...»⁶.

Письмо к А. Ф. Аксаковой от 19/31 июля 1870 г. написано Тютчевым сгоряча, еще до начала военных действий. Выражение «*les illusions*

habituelles», которым А. Ф. Аксакова охарактеризовала это письмо, вполне подходит к той части его, где Тютчев касается будущего России. Гораздо более трезвую оценку дает Тютчев совершающимся событиям в письме к ней же от 31 июля (12 августа) из Тёплица. Приводим его полностью:

«То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы, задуманной и об-



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Фотография Деньера, 1864 г.

Музей Тютчева, Мураново

работанной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, что читаешь на афише какое-нибудь знакомое заглавие: *Наказанный плут* или нечто в этом роде... С другой стороны, важность событий ускользает от всех людских оценок.

Ровно в о с е м ь дней, что война началась, и вот уже судьба Франции сведена к случайностям одного сражения, которое разыгрывается, может быть, в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества, целого мира, такого, как Франция. Думается, будто грезишь. Прежде всего, вот французская

армия, всегда почитавшаяся чем-то исключительным и выдающимся, которая не лучше австрийцев выдерживает превосходство прусских армий. Вот нашествие в обратном порядке (*invasion retournée*), французская земля заполонена, столица—Париж объявлен на осадном положении, отчизна объявлена в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, вызывается взять на себя спасение Франции. Эта примесь смешного к событиям наиболее трагическим и была всегда признаком великих явлений, завершающихся судьбой.

Вследствие какого-то поддельного воспроизведения (*reproduction plagi-aire*) этой Второй наполеоновской империи по отношению к Первой, можно с точностью определить некоей исторической формулой, в какой фазис она вступила: это сто дней Наполеона III. А тот, в чьей памяти сохранились гнусные подробности этой эпохи, читает как бы в л и б р е т т о все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть, и подлости скаредно-личных выгод. Если б я мог ошибаться в моих предвидениях! Так как падение Франции, сколь ни заслужено оно этим глубоким и внутренним разложением нравственного чувства, было бы, тем не менее, огромным бедствием со всех точек зрения, особенно же с точки зрения нашей собственной будущности. Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, является главнейшим условием этой будущности, настолько окончательное преобладание одной из них над другой было бы страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, пуще же всего на свете—осуществление, ставшее неминуемым, единства Германии, этого пробуждения легендарного Фридриха Барбаруссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, я должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии оказаться его зрителем... И когда подумаешь, что постановке этого великого зрелища способствовал скоморох, именующийся Наполеоном III! Таким образом, он явится в о с с т а н о в и т е л е м и м п е р и и, только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут разрешены. Еще раз—это сон...

Пока что я начал ванны, и это лечение, повидимому, принесет пользу. Тысячу нежностей Аксакову. Ах, если бы он был здесь...

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне несколько совестно за тебя, за всю эту болтовню твоего отца. Да хранит вас бог»⁷.

Когда Тютчев писал первое письмо к А. Ф. Аксаковой, соотношение сил, вступающих в борьбу, еще не было ему известно. Оглушенный новостью о войне, давно, впрочем, им ожидавшейся, он готов был видеть в завязывающемся поединке «начало конца света», но он еще не сознавал с достаточной ясностью, что прежде всего означал этот поединок, а именно начало конца бонапартистской Франции.

В первые же дни войны п а р о д и й н ы й характер Второй империи выступил с полной отчетливостью, и Тютчев тотчас нашел слова, чтобы определить тот исторический фазис, в который она вступила. Но стремительные успехи пруссаков сбили Тютчева с толку, опрокинули его предвидения. Давно ли, кажется, он утверждал, что «наше будущее широко раскрыто перед нами»? А залогом этого будущего он считал прежде всего «улажение восточного вопроса» таким образом, чтобы он стал раз и навсегда р а з р е ш е н н ы м в пользу России. Всякая европейская потасовка, которая отвлекла бы внимание заинтересованных стран от Ближнего Востока, представлялась Тютчеву как нельзя более своевременной. Таков

был смысл, вложенный Тютчевым в цитированные выше строки из его первого письма к дочери.

Ход событий, однако, не замедлил обличить всю поспешность тютчевского утверждения. Во втором письме к А. Ф. Аксаковой недавняя уверенность поэта уступает место опасению, как бы на открывшемся перед Россией пути не возник непредвиденный и «страшный камень преткновения». А. Ф. Аксакова в своем недошедшем до нас ответе на карлсбадское письмо отца, повидимому, и указала ему на этот «камень преткновения». Впрочем, и сами события скоро охладили тютчевский пыл.

«Я понимаю,—писал он ей же 7/19 августа 1870 г. из Тёплица,—что после всего происшедшего моя точка зрения должна была показаться тебе нелепой. В самом деле, если Франция уже не действительность, если она лишь призрак, пустая газетная фраза, если этой ужасной войне суждено будет завершиться полным торжеством Пруссии, то для нас создается весьма опасное и угрожающее положение. Но ничуть не достоверно, что вся сила сопротивления сломлена у Франции, одаренной столь мощной живучестью, и хотя эта страна и заражена до мозга костей, самая агония ее может вызвать страшные потрясения... Условия, в каких ведется эта война, незамедлительно превратят ее в войну племенную. Если даже неминуемое истощение и создаст кратковременную передышку, страсти слишком возбуждены, интересы слишком непримиримы, дабы борьба не возобновилась»⁸.

Поражение Франции наводит Тютчева на следующие раздумья: «... не будучи грубым животным, невозможно безнаказанно присутствовать при страшном зрелище сего божьего суда, что совершается над миром. Ничего не предрешая, предчувствуешь уже, каково будет последнее слово верховного приговора. Это—ниспровержение этой бедной Франции, которую нельзя не жалеть, в то же время признавая, что она вполне заслужила кары, готовые на нее обрушиться. Ибо страна, переносящая не без известного удовлетворения позорный правительственный строй, тяготеющий над ней вот уже восемнадцать лет, цвет которой, представляемый высшими государственными чинами, только что принимал участие, из раболепства или по глупости, в последних непристойных деяниях этой власти, обезумевшей от безнравственности, такая страна изрекла свой собственный приговор, а события являются всегда в назначенный срок, дабы привести его в исполнение. Не то, чтобы личный противник Наполеона III был значительно порядочнее его, но дело его более правое, и нравственное превосходство решительно на стороне Германии»⁹.

К той же теме возвращается Тютчев в письме к своему шурину, барону К. Пфеффелю, от 22 августа 1870 г. из Тёплица. Тютчев признает историческую законность совершающегося: «Он наступил, наконец,—этот день, так давно, так пламенно чаемый германской народностью...». И все же—«человеку, принадлежащему к европейской цивилизации, невозможно присутствовать при таком глубоком падении Франции, не испытывая ужасающего щемления сердца». Франции грозит расчленение, ибо она не в силах будет воспрепятствовать отторжению Эльзаса и Лотарингии. Если Россия и готова была бы «предотвратить эту катастрофу», то что может Россия—одна? «Кто нам пособит искренне и энергично?»—спрашивает Тютчев. «Англия? Но разве можно на нее полагаться? Бедная Франция!»¹⁰.

Барон Карл Пфеффель (1811—1890), к которому обращены эти строки,

был отпрыском старинного эльзасского рода, представители которого занимали видные служебные посты в дореволюционной Франции. После революции 1789 г. Пфеффели покинули французские пределы и обосновались в Баварии.

Появившийся на свет через двадцать лет после падения «старого порядка», за три года до крушения Первой империи, К. Пфеффель в полной мере принадлежал к тем эмигрантам, которые хотя и не вернулись во Францию (возвращаться было не на что, да и слишком глубоки были корни, пущенные Пфеффелями в баварской земле), однако же, ничему не научились и ни о чем не забыли.

Тютчева связывали с Пфеффелем долготлетние приятельские и родственные отношения, а также известная идейная близость. Однако, по натуре своей и по складу своего ума Пфеффель ничуть не походил на Тютчева. Прямолинейный легитимист и ретроград, безоговорочно преклонявшийся перед идеями Шатобриана и Ж. де Местра, Пфеффель представляет собою законченный тип француза-эмигранта. Он всегда считал Францию своей «настоящей отчизной» — не Францию Наполеона III, конечно, которого он чтил не меньше Тютчева, а «древнюю и славную Францию» королей. В том испытании, которое выпало на долю Франции, Пфеффель видит — ни дать ни взять, как его заочный собеседник — возмездие, вполне заслуженное «страной, которая по доброй воле с головой предалась такому авантюристу, каков Наполеон III», и «обществом, не признающим иного бога, кроме денег, и уступающим господство куртизанкам и фантатам бездельникам» (*petits-crevés*). Тютчевское признание «нравственного превосходства» Германии и исторической законности ее притязаний не встречает сочувствия со стороны Пфеффеля. Отрицая в немцах «цивилизаторские начала, без коих всякое политическое преобладание становится ненавистным», он горячо и запальчиво возражает Тютчеву: «Нет, мой дорогой друг, как я ни стараюсь, я не могу видеть в этой поразительной развязке что-либо иное, кроме факта чудовищного, такого, каким было бы торжество персов над греками»¹¹.

Сам Тютчев, несмотря на оглушительные успехи немцев, не верит в их «окончательное и полное торжество»: «Франция может быть сломлена и, вероятно, оно так и будет, но ее поражение станет жестокой и болезненной занозой в теле ее победителя»¹².

Месяц спустя, в первой половине сентября, вернувшийся в Россию Тютчев писал из своего орловского поместья, с. Овстуг, дочери Е. Ф. Тютчевой: «... Вот я благополучно вернулся из поездки, занявшей ровно столько времени, чтобы увидеть совершившимися на деле события, которые послужат предметом обсуждения для грядущих столетий, и, однако, это лишь самые первые шаги. Ближайший исход так же невозможно предугадать, как нельзя предугадать, какая будет погода через неделю, но что касается окончательного результата, то это совсем иное: он может быть вычислен, как вычисляют затмение, которое произойдет через пятьсот лет. Что бы ни случилось, одно остается безусловно совершившимся: это распад западного единства. Два племени, союз коих составлял это единство, навсегда разделены. Борьба между ними сможет временно приостановиться, но она не прекратится более...»¹³.

Оттуда же, из глуши Брянского уезда, Тютчев впервые делится с Пфеффелем своими мыслями по поводу провозглашения республики во Франции. О седанском позоре и о «кризисе», разрешившемся в Париже, Тютчев

где Нессельроды? Александр II раздает георгиевские кресты прусским генералам, которые опустошают эту прекрасную Францию, спасенную в 1814 г. его великодушным дядей, преисполненным почтения к этой старой кормилице народов, как в хорошем, так, увы! и в дурном... Все же я не отчаиваюсь в том, что вы преодолете вашу дремоту»¹⁶.

Франко-русские политические отношения этой эпохи могут быть охарактеризованы словами французского поверенного в делах в Петербурге, Габриака: «Россия нейтральна, но ее нейтралитет дружественен Франции, император нейтрален, но его нейтралитет благоприятен Пруссии»¹⁷.

Слова эти, хотя и относящиеся к несколько более позднему времени (март 1871 г.), верно обрисовывают существовавшее с самого начала войны различие между отношением к Франции русского «общественного мнения» и внешнеполитической позицией правительственных кругов. Это «отсутствие согласия» (*manque d'accord*) в особенности ощущалось в Москве. Посетив Москву по своем возвращении из-за границы, Тютчев писал: «Здесь, как и повсюду в России, правда, враждебность к немцам очень сильна, и ей вволю предаются в печати...»¹⁸. По словам Тютчева, такое настроение русского и, в частности, московского общественного мнения немало раздражало царя, который был задет тем, что его родственные чувства к Пруссии не разделяются его подданными. И неудивительно, что прием, оказанный петербургским двором Тьеру во время его официального визита в столицу империи, мог быть только... «очень учтивым» (*très courtois*). Тютчев, отсутствовавший из Петербурга во время приезда Тьера, но живо интересовавшийся подробностями его пребывания там, пишет жене, что ему рассказывали об «овации, которую петербургское общество намеревалось устроить Тьеру, если только к этому не встретилось бы препятствий в высших сферах, что легко могло бы случиться»¹⁹. Канцлер Горчаков передавал Тютчеву, что Тьер «взял за правило не испрашивать аудиенции ни у кого из членов императорской фамилии, кроме самого императора», но что он, тем не менее, был принят наследником, а также великим князем Константином, братом царя. Тютчев тщательно собирал обрывки разговоров Тьера, интересуясь тем, какое впечатление оставил он по себе в петербургском обществе: «На бедного старика жалко было смотреть. Несколько раз, когда он говорил о Франции, слезы прерывали его речь. Он охотно признал бессмысленность их политики по отношению к нам, которой и он способствовал, подобно другим и вследствие тех же причин, а именно их невероятного незнания всего, что не о н и, и в особенности того, что — мы... Он говорил о Наполеоне III с презрением, конечно, но без резкости. Он рассказывал, что через несколько дней после объявления войны, в момент, когда предстояло выступить в поход, Наполеон увидел, что не располагает и двумястами тысяч солдат; он велел передать Тьеру, что признает теперь, насколько тот был прав. Это просто непостижимо!»²⁰.

С осени 1870 г. французская дипломатия неустанно хлопочет о том, чтобы добиться вмешательства царя во франко-прусские дела. Хотя все попытки, предпринимавшиеся в этом смысле правительством национальной обороны, на первых порах неизменно отклонялись, отголоски их проникали в русское общество и давали повод к неверным подчас заключениям. «...Распускают слухи об умиротворении, которое приписывают дружественному вмешательству российского императора, коему обе стороны расположены предложить роль посредника», — пишет по этому поводу

Тютчев и тут же замечает: «Но я боюсь, увы! что это слишком хорошо, чтобы быть верным...»²¹. Сам Тютчев не очень-то надеется на эти попытки умиротворения: «...Я начинаю склоняться к твоему мнению,—признается он жене,—и разделять твое упорное предчувствие какой-то ужасающей катастрофы, которой все это завершится и которая будет не в пользу пруссаков. Европейское сознание было бы разочаровано, если бы дела приняли иной оборот»²². В том же письме у Тютчева вырывается вопль о «нелепости» (l'absurdité), о «нравственной невозможности подобного рода войны в эпоху цивилизации». «Это как бы публичный опыт людоедства!».

Версальские переговоры о перемирии, начавшиеся в первых числах ноября 1870 г. между Тьером и Бисмарком вследствие английского пред-

И ты свершил свой
подвиг роковой
великий. Как дьявол мятежи
накалываешь
на остроконечный
и пыльный титан
ко предкам. Блестящий
контрафальш. Притворяешься
мне миру. Делаясь не дел
Как скажешь в вальсе
Затем что ты прав
мне. Светлый же мрак.

Награда. Фр. III. 1870
Франц.
и врываешь ввек
пруссаков
отражаешь Бисмарка
и много-много
и как разлучен

Этот же текст
в другой редакции

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЮТЧЕВА О НАПОЛЕОНЕ III
«И ТЫ СВЕРШИЛ СВОЙ ПОДВИГ РОКОВОЙ...»

Литературный музей, Москва

ложения, поддержанного Австрией, Италией и Россией, не успокаивают Тютчева насчет будущего Франции. Мир на тех условиях, которые можно ожидать от Бисмарка, не спасет ее. Отныне во Франции разгорится борьба партий. Со времени революции 1789 г. «старой Франции, исторической Франции» уже больше не существует: вместо нее «два народа, противопоставленных друг другу и воюющих друг с другом; из них один—деревенское население—желает лишь такого правительственного строя, который охранял бы его интересы, будь это правительственный строй Наполеона III или самого дьявола; другой—революционная Франция—жаждет только стряхнуть бога и всякий закон, от него исходящий, дабы не чувствовать никаких стеснений»²³.

Тютчев верно охарактеризовал политическое настроение обширных слоев французского деревенского населения, мелкого консервативного крестьянства, избранником которого был Луи Бонапарт. Что же касается данного Тютчевым определения революционной Франции, то в нем нам

явственно слышится отзвук давнего тютчевского м е с т р и а н с т в а и того мистицизма, который, по словам Пфедфеля, проявлялся в Тютчеве под влиянием «великих социальных и политических потрясений»²⁴. Гибель старого мира для Тютчева все равно, что «конец света». «Общее положение Европы ухудшается все более и более,—пишет он дочери Анне.—Разгром Франции осложнится, вероятно, гражданской войной. Ложь современной цивилизации становится все более и более очевидной. Это—льдина, которую унесет ледоход, но на этой льдине построен целый мир...»²⁵.

Предчувствие грядущей гражданской войны, «настоящей войны классов» (*une vraie guerre sociale*), которая неминуемо воспоследует за войной внешней, не оставляет Тютчева. Приведем отрывки из его неизданных писем этого времени, обнаруживающих, с какой остротой воспринимал он создавшееся политическое положение.

Вот отрывок из письма к А. Ф. Аксаковой от 14/26 января 1871 г.:

«Вся эта война завершится каким-нибудь провалом и увлечет за собою будущие поколения. Английская демократия волнуется и ждет лишь сигнала, дабы разразиться демонстрациями в пользу Франции, против Пруссии. Все демократии материка, в сущности, составляющие одну единую демократию, последуют ее примеру. Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей классовой войной. Не в обиду будь сказано императору Вильгельму, его империя не будет империей мира и прогресса под сенью свободы, если бы даже он этого желал. Будет совсем иное. Эта война, каков бы ни был ее исход, расколется Европу на два лагеря, более чем когда-либо «враждебных»: социальную революцию и военный абсолютизм. Вся почва, разделяющая их, обрушится...»²⁶.

Через две недели, 1/13 февраля 1871 г., Тютчев писал ей же:

«Мы уже не говорим: последние времена наступили. Но верно то, что редко бывали худшие, и едва три года отделяют нас от эпохи парижской выставки, которая была как бы оргией современной цивилизации. Оргия крови, сменившая ее и еще продолжающаяся, близится, мне думается, к концу. Я не считаю более возможным возобновление войны после этого краткого, но общего ослабления нервного напряжения [28 января было подписано перемирие.—К. П.]. Победители и побежденные должны иметь в настоящую минуту лишь одно желание: вздохнуть свободнее. Но эта минута не будет продолжительной, и борьба разбушевавшихся стихий не замедлит возобновиться если не посредством пушечных выстрелов и на полях сражений, то, несомненно, во всех крупных центрах европейского брожения. Начнется двойное движение: борьба народностей и племен, долженствующая, казалось бы, в недалеком будущем вызвать столкновение между Пруссией и нами, и другое движение, столь же вероятное, которое сшибется с предыдущим: это—реакция европейской демократии, революционный социализм во всех его разветвлениях, объединяющий все либеральные оппозиции против преобладания прусского милитаризма. Слишком много содеяно насилий, страсти чересчур возбуждены, все основы права чересчур попорчены, дабы м е ж д о у с о б н а я борьба могла быть предотвращена, и таково будет противоположное течение, которое приостановит войну племенную или станет ей помехой. Подобное положение не замедлит обозначиться к весне»²⁷.

В отношении Франции тютчевское предсказание исполнилось с буквальной точностью: едва прошел месяц со времени написания этих строк, как гражданская война разгорелась.

Тютчев не сумел понять огромного исторического значения Парижской коммуны. За два дня до начала ее кровавой агонии он писал к И. С. Аксакову: «...я не раз собирался писать к вам о том страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина, так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслью подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение: господь ожесточает сердца строптивых. Этому я каждый день свидетелем. Казалось [бы], что к событиям таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко и что эта страшная поверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. Оказывается далеко не то: я встречаю здесь людей серьезных, ученых и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения... Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца? В современном настроении преобладающим аккордом это—принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы все заражены, все без исключения, и вот откуда идет это повсеместное отрицание в л а с т и, в каком бы то виде ни было. Для личного произвола нет другого зла, кроме власти, воплощающей какой-либо принцип, стесняющий его. И вот почему блаженни нигилисты, тии бо наследят землю до поры, до времени»²⁸.

Резко враждебное чувство к Коммуне, однако, не помешало Тютчеву понять, что врагам ее нечего противопоставить ей, кроме грубой силы. Уже в первые недели существования Коммуны он писал: «Возможно, что и на сей раз европейское общество не даст нападающим поработить себя, но уже в нем нет того, что могло бы победить их и сдерживать» [разрядка моя—К. П.]²⁹.

И, действительно, разгром Коммуны соединенными усилиями «победившей и побежденной армии» означал, по словам Маркса, не что иное, как «полнейшее разложение старого буржуазного общества»³⁰.

II. ТЮТЧЕВ О ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКЕ.—ПЕРЕПИСКА ТЮТЧЕВА С Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ О ТЬЕРЕ.—ТЮТЧЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА ФРАНКО-РУССКОГО СБЛИЖЕНИЯ

В ноябре 1870 г. Тютчев получил от К. Пфеффеля рукопись небольшой статьи, предназначавшейся им для монархически-клерикальной газеты «L'Union». Опасаясь, что в обстановке «республиканского терроризма» этой статейке не будет дано хода, Пфеффель решил переслать ее в Россию, в надежде, что там она сможет приютиться на столбцах официозного органа министерства иностранных дел «Journal de St.-Petersbourg». С просьбой оказать покровительство его статье и обращался Пфеффель к Тютчеву.

При этом он указывал ему на то, что набросанные им на бумагу размышления «не содержат положительно ничего нового и что то же самое, но лучше и красноречивее, уже высказал пятьдесят шесть лет тому назад г. Шатобриан. Но г. Шатобриана больше не читают, и для того, чтобы впавшие в забвение идеи и истины вновь могли подняться на поверхность, они должны быть повторены устами современников»³¹.

И действительно, к самому заглавию рукописи Пфеффеля «Quelques réflexions sur l'état actuel de la France» («Краткие размышления о настоящем

положении Франции) с успехом пристала бы вторая половина заглавия штаббриановской брошюры: «...des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes pour le bonheur de la France et celui de l'Europe» («...о Бурбонах и о необходимости сплотиться вокруг наших законных государей для счастья Франции и всей Европы»).

По мнению Пфеффеля, Франция «всеми своими успехами обязана старой монархии, а своими превратностями — различным правительствам, исходившим от революции, принципом коей является верховенство народа, последним же словом — всеобщее избирательное право». Единственным якорем спасения для Франции Пфеффель считает восстановление «наследственной монархии» Бурбонов. Но эта реставрация возможна лишь при условии полюбовного соглашения между легитимистами и орлеанистами. И Пфеффель недоумевает: из-за чего ссориться? Разве Орлеаны не являются законными преемниками графа Шамбора? Будет и на их улице праздник.

Но одной реставрации недостаточно. Есть еще мера, которую лелеет автор этой ультрареакционной статьи: это административная децентрализация и, как крайнее, но неотложное средство, своего рода «кесаревое сечение», — лишение Парижа звания столицы. Как видим, Пфеффель предлагал то же самое, чем несколько времени спустя грозили парижанам версальцы — *décapiter et décapitaliser Paris*.

Когда Э. Ф. Тютчева сообщила Пфеффелю отрицательный ответ редактора «*Journal de St.-Petersbourg*», Тютчев поручил ей передать ее брату, что если нельзя напечатать статью в том виде, в каком она вышла из под его пера, то лучше совсем воздержаться от ее обнародования. Оказывается, и Тютчев по своем возвращении из-за границы высказывал пожелания, впрочем, не считая их осуществимыми, насчет возвращения Бурбонов во Францию³². К Тютчеву, а к Пфеффелю тем более, вполне применимы слова Маркса о «представителях легитимистского суеверия, как последнего талисмана от анархии»³³.

Отказ редактора петербургского официоза напечатать статью Пфеффеля весьма знаменателен. Про «*Journal de St.-Petersbourg*» говорили, что он «отличается сдержанностью и осторожностью старого дипломата»³⁴. В данном же случае эта сдержанность и осторожность находились в полном соответствии с уклончивой политикой царского правительства по отношению к Франции и его нежеланием словом или делом высказать свое определенное мнение по поводу текущих событий.

Вплоть до начала 1871 г. направление русской внешней политики оставалось попрежнему пруссофильским. Однако, довольно скоро вызывающее поведение Бисмарка, свидетельствовавшее о сильно возросшем политическом значении Германии, начало возбуждать опасения русских дипломатов. Эти опасения подогревались наметившейся к этому времени «склонностью» к Пруссии со стороны Австрии³⁵.

Между тем, буржуазно-республиканское правительство Франции, всячески заигрывавшее с царской Россией, достаточно зарекомендовало себя перед ней своим образом действий по отношению к Коммуне, чтобы вопрос о республиканской или монархической форме правления во Франции мог сохранять свое прежнее значение. Парижская коммуна в деле сближения официальной Франции с официальной Россией сыграла ту же роль, какую некогда сыграло польское восстание в деле сближения последней с бисмарковской Пруссией. Уже 23 марта 1871 г. французский предста-

витель в Петербурге, по поручению Горчакова, сообщает в Версаль, что в «республиканском» правительстве Франции канцлер видит «единственно возможное»³⁶.

В связи с этим поворотом в отношении русского правительства к Франции особый интерес приобретают тютчевские высказывания о «республике господина Тьера», до известной степени отражающие ту «кампанию», которая развернулась в околоправительственных кругах в пользу франко-русского сближения.

«Легитимистское суеверие» Тютчева было весьма кратковременным. Едва ли даже не стало оно суеверием и в его собственных глазах.



Е. Э. ТРУБЕЦКАЯ

Карикатура И. А. Всеволожского

Исторический музей, Москва

По крайней мере, 15/27 июля 1872 г. он писал одной из своих светских знакомых: «...Нельзя скрывать от себя, что при современном состоянии умов в Европе то из европейских правительств, которое решительно взяло бы на себя почин в деле великого преобразования, открыв республиканскую эру в европейском мире, сделало бы значительный шаг вперед по сравнению со своими соседями—друзьями и недругами. Ибо чувство преданности династии, без которого нет монархии, повсюду слабеет, и если порою происходят обратные проявления, то это лишь в сплесе в общем великом течении»³⁷.

Письмо это обращено к княгине Елизавете Эсперовне Трубецкой, урожденной княжне Белосельской-Белозерской (1830—1907), известной в петербургском большом свете и в салонах Второй империи под уменьшительным именем Lise или Lison. «Крошечная ростом, но исполн честолобием» (как отзывается о ней злой на язык кн. П. В. Долгоруков³⁸),

кн. Трубецкая хотела во что бы то ни стало играть политическую роль, иметь влиятельный политический салон. В Париже она водила дружбу с Гизо, Тьером, Жирарденом, а в Петербурге—с Горчаковым и Тютчевым. В России у нее было мало друзей и много недоброжелателей, людская молва считала ее интриганкой. Ее длительные пребывания за границей и ее страсть к политике подали повод заподозрить *princesse Lise* в том, что она была тайным агентом русского министерства иностранных дел.

Судя по неизданным письмам кн. Трубецкой к Горчакову и к Тютчеву, казалось бы, этот слух не лишен некоторых оснований. «Среди различных интересов, которые я имею в Париже, нет для меня большего, как создавать для моей страны пламенных защитников»,—пишет она однажды Горчакову³⁹. «...Пожелайте мне сил, чтобы жить на благо ближнему, как я и делаю»,—обращается она к Тютчеву⁴⁰. В другой раз она сообщает ему же свои впечатления от только что выслушанной ею речи Тьера, прося своего корреспондента «передать их князю» (т. е. Горчакову)⁴¹.

Состояла ли она настоящим агентом на содержании у правительства или же предавалась лишь своей неутомимой жажде политической интриги,—на этот вопрос мы еще лишены возможности ответить с полной определенностью.

Но если *Lison* Трубецкая формально и не была тем, чем являлся, скажем, Яков Толстой, то ее с успехом можно было назвать и с п о л н я ю щ е й о б я з а н н о с т и русского негласного агента в Париже. Едва ли не так и смотрел на нее Горчаков, для которого небесполезно и уж, во всяком случае, небезынтересно было иметь за кулисами дипломатии эту усердную поставщицу политических сплетен, к тому же глубоко проникнутую сознанием своего собственного значения. Но Горчаков знал ей цену. Под видом комплимента он подчас преподносил ей не очень-то лестные истины: «Я получил ваше письмо; это фейерверк, который ослепляет... но не освещает»⁴².

Знал ей цену и Тютчев. Подсмеиваясь и иронизируя над ней, он все же охотно поддерживал с ней дружбу. Трубецкая была для него как бы «собственным корреспондентом», а близость ее к Тьеру (недаром ее так и называли: *l'amie de monsieur Thiers*) и к некоторым другим видным деятелям республиканской Франции придавала ее сообщениям не малый политический интерес. Сам же Тютчев не раз обращался к ней с п р о г р а м м н ы м и письмами, зная прекрасно, что содержание их дойдет по назначению.

Летом 1872 г., отвечая на неизвестное нам письмо Трубецкой, Тютчев пишет: «Ваше пребывание в Париже, главным образом благодаря вашим отношениям к Тьеру, вероятно, было для вас, любезнейшая княгиня, полно живейшего интереса, и прочитанная мною в одном из ваших писем оценка этого прекрасного человека и человека редкого ума в его борьбе с глупостью и извращенностью, эта оценка по всем пунктам совпадает с моей. Тьер самым решительным образом опровергает известную русскую поговорку: о д и н в п о л е н е в о и н; он и есть этот воин, столь одинокий и, тем не менее, столь воинственный. Никогда, кажется, значение человеческой личности не было лучше доказано. Что же, если он успеет в своем деле, если ему удастся установить во Франции возможную и жизнеспособную республику, то одним этим фактом он возвратит своей родине ее

былое преобладание...» (далее следуют строки о республиканской эре, приведенные выше.—К. П.)⁴³.

«Итак, вы возвращаетесь в Париж или, лучше сказать, вы едете к г. Тьеру,—пишет Тютчев своей корреспондентке два месяца спустя,—вы будете присутствовать при одном из самых великих в истории деяний, к каким когда-либо были приложены ум и воля человеческие. Да обретет он успех, коего так заслуживает!.. В самом деле, кто же в Европе может сомневаться в настоящее время в том, что, только став республикой (такой, как ее мыслит г. Тьер), Франция перестанет быть революционной и что всякий династический принцип в этой стране является только лишним источником революционного брожения... Итак, желаю успеха республике г. Тьера, ибо Европе и особенно России нужна упорядоченная и сознающая самое себя Франция»⁴⁴.

Несомненно, что отношение Тютчева к Третьей республике определялось во многом его отношением к германскому милитаризму и что в основе тютчевской пропаганды франко-русского сближения коренилось убеждение в необходимости оборонительного союза против Германии. Правда, это нигде не высказано Тютчевым прямо, но легко читается между строк. Это убеждение Тютчева вполне совпадало и с точкой зрения Горчакова⁴⁵.

Деятельной поборницей франко-русского сближения выступала и кн. Е. Э. Трубецкая. Одно из ее писем к Тьеру на эту тему, которое она, повидимому, представила на одобрение Тютчева (текст письма нам неизвестен), дало повод последнему изложить в письме к ней свое *profession de foi* по данному вопросу. Письмо это не поддается точной датировке.

Любезнейшая княгиня,

Ваше письмо совершенно и не оставляет желать ничего лучшего. С таким умным человеком, как Тьер, достаточно намека. Ваше же письмо—больше, чем намек... Действительно, если у Франции есть еще будущее, то одно из самых важных для нее условий—это понять, что такое Россия в ее сущности, в ее исторической миссии.

Только тогда Франция в состоянии будет оценить, до какой степени ее политика в польском вопросе являлась страшной помехой со всех точек зрения, ибо эта политика, неизбежно укрепляя союз России с немецкими державами, очень успешно препятствовала объединению славянской Европы, предназначенной к тому, чтобы быть естественной союзницей латинских рас и, в особенности, Франции. Можно надеяться, что после страшной катастрофы, все перевернувшей в Западной Европе, эта точка зрения станет, наконец, доступной французским умам и явится одним из существенных элементов политического возрождения Франции. Раз эта точка зрения будет твердо усвоена как во Франции, так и в России, наши мнимые прусские симпатии должно будет рассматривать, лишь как разницу между великим течением событий, которое все более и более будет направлять нашу политику в будущем, и случайным всплеском, определяемым в этом великом потоке преходящими влияниями.

Вот, любезнейшая княгиня, на какой вопрос ваше письмо к Тьеру должно привлечь внимание этого проницательного ума, постигшего так много и непрестанно продолжающего постигать. Что же касается нас, то мы не могли бы иметь перед ним лучшего истолкователя, чем вы, у которой

столько чуткости и столько инициативы. Это, вероятно, и вызывает против вас мелочное раздражение со стороны некоторых посредственностей, на которые излишне точно указывать.

Примите, любезнейшая княгиня, выражение моей признательности за сообщение, а также мой почтительный привет.

Тютчев⁴⁶

Следующее письмо Тютчева к Трубецкой относится уже ко времени его предсмертной болезни:

Любезнейшая княгиня,

Не знаю, доставляют ли вам мои писания наималейшее удовлетворение, но мысль побеседовать с вами доставляет мне столь глубокое и большое, что в том состоянии, в каком я нахожусь—имея так мало удовольствий,—я не смог бы отказать себе в этом. Поистине, любезнейшая княгиня, я завидую тому, в какой среде вы возвращаетесь, в близком обществе первого человека своей эпохи, в стране, снова начинающей привлекать к себе сочувственное внимание всей разумной Европы исключительно потому, что эта страна является бранным полем поединка, героем коего выступает этот человек,—ибо никогда еще борьба между добром и злом, составляющая основу жизни мира, не была более острой, ни более драматичной, так как она никогда не сводилась к меньшему числу действующих лиц. В самом деле, с одной стороны—человек, вооруженный своим умом и своей доброй волей, с другой—в борьбе против него—целый мир злых страстей, порочных инстинктов. Находясь так далеко, мы с трудом постигаем слепую и страстную ярость врагов г. Тьера, с одной стороны, а с другой, спокойное и мудрое величие, которое он неустанно им противопоставляет, тогда как для того, чтобы их погубить, ему достаточно было бы отнять свою руку, ибо какой умный человек во Франции не сознает, что образ правления г. Тьера есть последний этап исторической жизни Франции, потому что ее падение ознаменует начало окончательных катастроф, беспощадных кар. Ах, Франции пришлось много пострадать, но иногда хирургическая операция бывает необходима для спасения жизни больного.

Любезнейшая княгиня, вы, которая занимаете у самой сцены удобное место для того, чтобы видеть, и чтобы хорошо видеть, разъясните нам положение. Я вынужден прервать письмо, но чего я не в состоянии был бы сделать, это перестать, хотя бы на время, любить вас и вздыхать по вас.

Ф. Тютчев

Это письмо обнаружено в бумагах Тьера, хранящихся в парижской Национальной библиотеке. Оно написано неизвестной рукой, по всей вероятности, под диктовку больного Тютчева. Не исключена, впрочем, возможность, что это копия, специально сделанная для Тьера, но не самой Трубецкой, почерк которой отличается от почерка письма. Во всяком случае, публикуемый текст является в настоящее время единственным текстом письма, которым мы располагаем.

Хотя на рукописи и имеется помета: «Документ, приложенный к письму княгини Трубецкой, без даты, но вероятно 1872 г.», совершенно очевидно, что письмо Тютчева относится к 1873 г. и написано не позже первой половины апреля нового стиля. Несомненно, что именно об этом письме Тютчева говорит Тьер в записке к кн. Трубецкой от 27 апреля 1873 г.:

Дорогая княгиня,

Благодарю вас за письмо, которое вы мне сообщили и которое меня глубоко тронуло. Одного не хватало мне в доставленном вами удовольствии, это—возможности прочесть имя автора письма. Будьте столь добры перевести его со с к о р о п и с и на почерк р а з б о р ч и в ы й. Простите мне эту неприличную просьбу. Самый красивый почерк обычно наименее разборчив, свидетельством чему служит мой почерк—отвратительный и четкий.

Сердечно ваш

А. Тьер⁴⁷

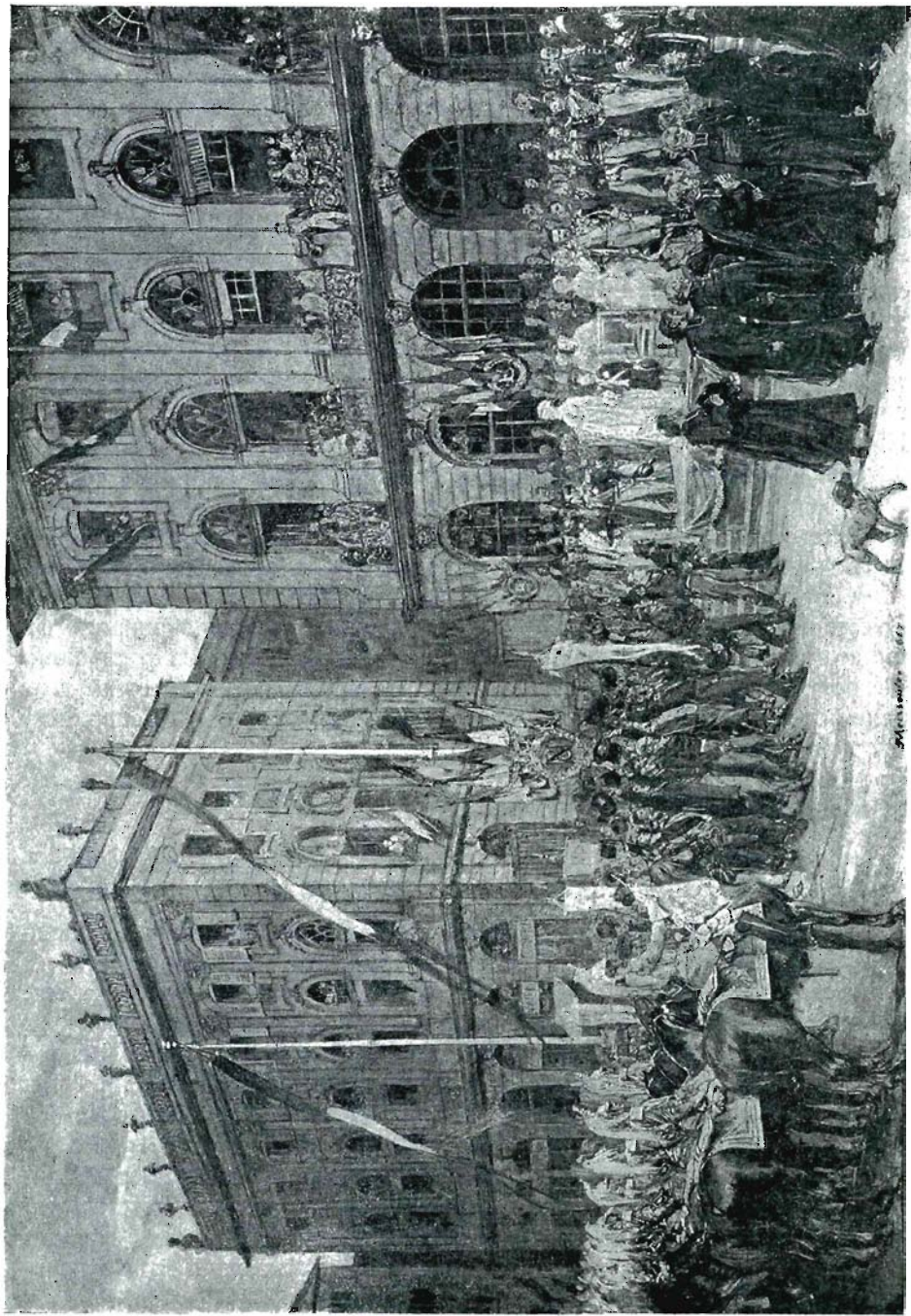
Письмо Тютчева было получено в Париже в тот самый момент, когда правительство Тьера вступало в полосу кризиса. Двоякого рода противники поднялись против буржуазно-консервативной республики Тьера: с одной стороны, монархисты всех трех мастей, с другой—«крайние левые» республиканцы, противопоставившие лозунгу Тьера «la république sans républicains» («республика без республиканцев») программу: «la république républicaine» («республиканская республика»). 27 апреля 1873 г.—как раз в тот самый день, к которому относится вышеприведенная записка Тьера к Трубецкой,—правительство потерпело решительное моральное поражение: на дополнительных выборах в Национальное собрание буржуазный радикал Бароде, поддержанный «крайней левой» («l'Extrême Gauche»), одержал перевес над кандидатом правительства и республиканской «левой» («la Gauche») — Ремюза. Выборы Бароде дали козырь в руки «правых»: последние не замедлили истолковать этот факт, как доказательство бессилия Тьера положить предел развитию радикализма.

Ответное письмо Трубецкой Тютчеву от 5 мая 1873 г. дает подробный отчет об этих выборах и создавшейся в Париже политической обстановке. Приводим отрывок из этого письма:

«Вам было суждено, дорогой г. Тютчев, воскресить эти слова Вольтера: свет воссиял нам с Востока⁴⁸. Ибо ваше письмо, подобно солнечным лучам, явилось согреть сердце знаменитого человека, которому судьба даровала, повидимому, грустную честь изведать на себе старинное присловье: не бывает пророк без чести, разве в отечестве своем и в доме своем.

Неблагодарность французского общества по отношению к г. Тьеру не имеет границ. Пользуются каждым плохим поводом, чтобы вызвать, как сейчас, искусственное брожение.

По-моему, дело с выборами является успехом для республики. Никогда ни один кандидат монархических партий не получил бы 140 тысяч голосов. Общественному мнению надлежало бы успокоиться на этом торжестве Ремюза. Но нет, оно станет будоражить подонки общества, которым нет числа. Париж никогда не избирал иначе. Всегда мерзкие выборы, особенно при империи. Горестный ход поражений Франции не исчерпался: в этой палате из 700 членов 500 монархистов. О н и н е м о г у т с о з д а т ь н и к а к о й м о н а р х и и. Г-н Тьер в этом уверен,—г. Тьер любит Республику,—г. Тьер любит либералов, и о н и в н е м н у ж д а ю т с я. Либералы голосовали против него и, я очень этого опасаясь, лично ему враждебны в настоящую минуту из-за Комиссии тридцати, члены которой неизвестно почему антипатичны всем, а также правительству [«Комиссия тридцати» была образована при Национальном собрании для



ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ПЕРЕД ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕВГЕНИЕЙ

Рисунок Э. Месонье, 1867 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

выработки проекта конституции и состояла по преимуществу из «правых». — К. П.]. Какое осложнение! Однако, он из него выпутается и, пока захочет, удержит власть! Но при условии пуститься, как сегодня, на кажущиеся уступки, дабы внешне уменьшить свое значение.

Он займет определенное положение только после отпуска, который состоится, несомненно, до окончания года. Вы будете удивлены тем, что я сама поощряла г. Тьера о п р о к и н у т ь с я в п р а в о, как говорит Жирарден. Что делать — у него не было выбора, большинство составляет здесь все. Сейчас он чувствует себя неловко, но недели через две каникулы палаты положат предел его неприятностям. По моему мнению и по желанию герцога де Брولли, ему не следовало бы присутствовать на этих прениях, поистине оскорбительных для него. Что хотите! Любовь к парламентаризму берет верх. Он присутствует, и во всю его долгую жизнь ничто не было ему так тягостно, как то, что ему пришлось примириться с ограничениями, предписанными его 'словам! Я не верила этому до сегодняшнего утра. Старик в самом деле трогателен своим самоотвержением и находчивостью своего ума...»⁴⁹.

Как видим, Трубецкая настроена оптимистически. Даже провал кандидатуры Ремюза представляется ей в своем роде «успехом». Эта способность видеть все в радужном свете не оставляет ее. Еще 21 мая, за три дня до падения правительства Тьера, она сообщает Тютчеву, что президент не испытывает опасений («он n'est pas inquiet à la Présidence») и что «изложение» его политики встретит одобрение страны⁵⁰.

Вместо этого 24 мая монархическое большинство Национального собрания вотировало порицание главе «консервативнейшей из республик» за недостаточную охрану «консервативных интересов». Тьер в тот же день подал в отставку. Президентские полномочия были переданы монархисту и клерикалу маршалу Мак-Магону.

Под живым впечатлением падения Тьера Тютчев продиктовал жене следующее письмо к кн. Е. Э. Трубецкой:

14/26 мая 1873 г.

Княгиня,

Катастрофа, только что происшедшая в Париже, — повторение февральской революции — та же порывистость, та же недалекость, та же французская *furia*, что и тогда. Но на сей раз последствия будут еще гибельнее, и я считаю, что Франция вступила в круг последних роковых опытов и для нее уже нет возврата. Такова уж будет судьба Тьера — после людей, давших ему повод к справедливым нареканиям, ему придется посетовать и на своих отомстителей — богов: так далеко они зайдут в своей мести.

Что нам здесь представляется совсем уже жалким, это выборы Мак-Магона, которого смогли принять за серьезного политика потому, что генерал он посредственный. Он-то и вызовет взрыв, так как ему суждено выступить в роли Монка, притом в пределах, допускающих любые перевороты и мятежи.

Бедная Франция! И печальнее всего то, что теперь уже мир, при виде ее новых бедствий, не преминет сказать: «Поделом, они получили по заслугам».

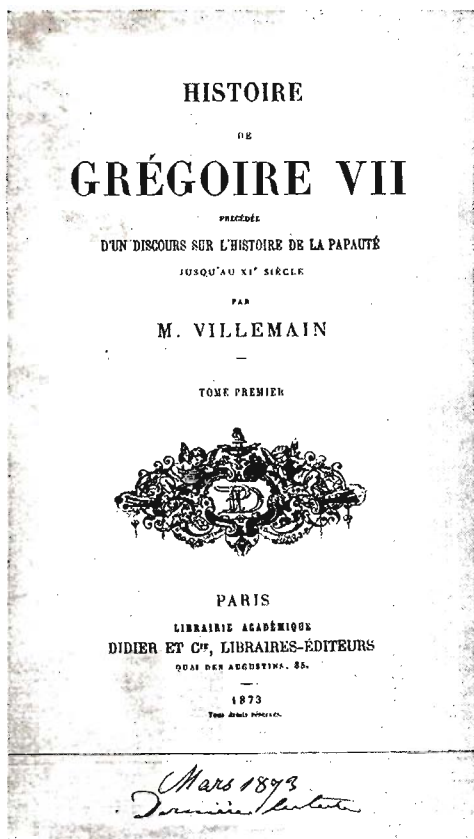
С самого детства интересуясь Францией, я всегда был убежден, что она увидит провал Великой Революции, не дождавшись ее столетней годов-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ВИЛЬМЕНА

„HISTOIRE DE GREGOIRE VII“

Надпись рукой жены Тютчева: „Март 1873.
Последнее чтение [Тютчева]“

Музей Тютчева, Мураново



щины. Осталось только 16 лет до рокового срока, но политические партии Франции сумеют использовать это время, и в конце концов будет признано, что все эти философические взгляды на революцию были чистейшей нелепостью—близорукой философией, навязанной, как аксиома, невежественной толпе. Это рак, который выдавали за болезнь роста.

Я понимаю, милая княгиня, интерес, который для вас представляет непосредственное наблюдение за разворачиванием событий, но, бога ради, берегитесь, помните Плиния-старшего⁵¹ и остерегайтесь лавы, которая потечет.

Мы сейчас заняты здесь чествованием шаха персидского. Что до меня, все эти полудикие азиаты внушают мне только ужас и отвращение. Они производят на меня то же впечатление, что производит на человека обезьяна. Кабы еще вы были здесь среди нас, милая княгиня, живым подтверждением существования нашей туземной цивилизации... Но когда это случится?

Благоволите засвидетельствовать мое почтение г. Тьеру. Если ему и не повезло в прошлом, он восторжествует в глазах потомства.

Я передал ваше письмо канцлеру, который не преминет написать вам. Примите уверение в совершенном почтении и уважении.

Ф. Тютчев⁵²

Это письмо, так же как и предыдущее, было переслано Трубецкой Тьеру 31 мая 1873 г. со следующей запиской: «Позвольте мне, дорогой

господин Тьер, сообщить вам это письмо моего петербургского корреспондента—я присоединю к нему лишь чувства моей искренней преданности»⁵³.

Несмотря на любезные фразы, которые Тютчев расточает в этом письме по адресу Тьера, последние парижские события, и, в частности, выборы Бароде, были в его глазах симптомом того, что Тьеру не удалось создать «жизнеспособную республику». Как усердный читатель «*Journal de St.-Petersbourg*», Тютчев не мог не обратить внимания на то, что подавляющее количество голосов за Бароде было подано рабочими. «Среди этих масс,—сообщал по этому поводу петербургский официоз,—оставалась еще неутоленная доля ненависти и злопамятства по отношению к „версальцам“»⁵⁴. И перед красным призраком Коммуны Тютчев склонен рассматривать состоявшееся в апреле 1873 г. свидание Горчакова с Бисмарком, как «своего рода естественный конгресс, созданный по определению исторического промысла Европы», дабы «в подобный момент» ее «наблюдающие умы были вместе и имели возможность действовать заодно».

От этих строк из письма Тютчева к Горчакову⁵⁵ веет архивной пылью времен Священного союза. Можно подумать, что малейшего намека на успехи революции достаточно для Тютчева, чтобы ухватиться за прежний талисман. Не он ли сам утверждал незадолго до того, по поводу съезда трех императоров в Берлине осенью 1872 г., что возрождение Священного союза было бы отныне «и невозможно и бесцельно»?⁵⁶. Тютчев прекрасно сознавал, что монархический Священный союз был выгоден для царской России только тогда, когда раздробленная Германия была у нее под башмаком. Теперь же объединенную под гегемонией прусских юнкеров Германию не так-то было легко упрятать под башмак. А насчет большой угрозы, которую представлял для России германский милитаризм, Тютчев не сомневался ни минуты.

В свете всех этих данных, цитированное письмо Тютчева к Горчакову—перефразируя собственные слова поэта—можно назвать «случайным всплеском в общем течении» тютчевской корреспонденции семидесятых годов. Проживи он дольше, он неминуемо должен был бы признать, что миролюбивым заверениям Бисмарка грош цена. Да и не сам ли Тютчев еще не так давно, давая характеристику северо-германской повременной печати, писал в своем отчете о деятельности «Комитета цензуры иностранной», председателем которого он состоял:

«Что же касается северо-германской периодической печати, то она, за малым исключением, очень подозрительно относилась к обоюдной дружбе обоих правительств [русского и прусского—К. П.]. Винаваты ли в том гг. фон-Бокки, Эккардты и Ширрены, или повлияли другие какие-нибудь пружины, но существующий факт тот, что северо-германская пресса сильно налегала на Остзейский край и напевала то «*Wacht an der Düna*», то «*Wacht an der Weichsel*». Самые же ярые журналы этим не ограничивались и во имя «*Drang nach Osten*» не прочь были запрятать Россию за Урал. Разгулявшемуся милитаризму стало душно в нынешней узенькой рамке, хотя на север, на юг и на запад она в последнее время порядочно-таки пораздвинулась; ему хотелось простора, и где же его искать, как не на Востоке, по ту сторону «*Weichsel*» и «*Düna*»?⁵⁷.

Заканчивая настоящий очерк, мне хочется напомнить читателю следующее признание Тютчева: «Бывают минуты, когда я задыхаюсь от своей бессильной прозорливости, подобно заживо погребенному, который при-

ходит в себя»⁵⁸. Вот эта «прозорливость» и придает тютчевским письмам такую большую историческую цену.

Но, независимо от их чисто исторического значения, от их тесной связи с определенными политическими событиями, многие высказывания Тютчева до сих пор не утратили известной злободневности и остроты. Невольно приходят на память слова, сказанные о Тютчеве И. С. Аксаковым: «В сроке и способе разрешения поставленных Тютчевым [вернее, историей—К. П.] вопросов ему приходилось нередко и ошибаться... Но... время не упразднило самих вопросов, а многие из них поставило еще резче»⁵⁹.

И действительно... Франция и Германия и взаимоотношения их с Россией,—правда, уже не с той Россией, апологетом которой был Тютчев,—разве и поныне, при изменившихся исторических условиях, не привлекает этот вопрос нашего внимания? А это как раз один из тех вопросов, которые стояли всегда в центре внимания Тютчева.

ПРИМЕЧАНИЯ

В тех случаях, когда при ссылках на архивные материалы не отмечено: «подлинник по-русски», подразумевается, что документ написан на французском языке. Переводы выполнены Е. В. Герье, Е. И. Пигаревой и К. В. Пигаревым. Ввиду частых ссылок на архив Мурановского музея имени Ф. И. Тютчева и на отдел рукописей Публичной библиотеки СССР имени Ленина, приняты сокращенные обозначения: МА. и ЛБ. Письма Тютчева к жене Э. Ф. Тютчевой и к бар. К. Пфеффелю, ранее напечатанные с большими пропусками и неточностями, цитируются по подлинникам с одновременной отсылкой к печатному тексту. В случае полного совпадения печатного текста с подлинником, указывается только первый.

¹ Письмо М. Ф. Бирилевой к Д. Ф. Тютчеву от 10/22. VII. 1870 г.—МА. Подлинник по-русски.

² Письмо к жене от 6/18. VII. 1870 г.—ЛБ, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 259—260.

³ МА.

⁴ См. письмо А. Ф. Аксаковой к Е. Ф. Тютчевой от 30. VII/11. VIII. 1870 г.—МА.

⁵ *Vogüë (Melchior de), La poésie idéaliste en Russie. F. I. Tutchef—«Regards historiques et littéraires», 293.*

⁶ Аксаков И. С., По поводу речи Наполеона III 23 октября 1863 г.—Сочинения, VII, М., 1887, 3 и 5. Ряд статей Аксакова о Второй империи, помещенных в газетах «День» 1863—1864 гг. и «Москва» 1867 г., см. там же, 12—24, 31—41, 41—52, 94—99, 100—106, 117—124, 169—175.

⁷ МА.

⁸ МА.

⁹ Письмо к Д. Ф. Тютчевой от 1/13. VIII. 1870 г. из Тёплица.—МА.

¹⁰ «Старина и Новизна», XXII, 288—289. Цитирую по подлиннику, принадл. Н. И. Тютчеву.

¹¹ Письмо К. Пфеффеля к Тютчеву от 24. VIII. 1870 г. из Мюнхена.—МА.

¹² Письмо к жене от 14/26. VIII. 1870 г. из Тёплица.—ЛБ, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 263.

¹³ МА.

¹⁴ Письмо к Пфеффелю от 9/21. IX. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 289—290. Цитирую по подлиннику, принадл. Н. И. Тютчеву.

¹⁵ Письмо Пфеффеля к Тютчеву от 5. X. 1870 г.—МА.

¹⁶ Письмо к нему же от 19. X. 1870 г.—МА.

¹⁷ «Парижская коммуна», сборник статей под редакцией и с предисловием Н. М. Лукина, М.—Л., Партиздат, 1932, 216.

¹⁸ Письмо к жене от 20. IX/2. X. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 265.

¹⁹ Там же.

²⁰ Письмо к жене от 27. IX/9. X. 1870 г.—ЛБ, 7807.—«Старина и Новизна», XXII, 266.

²¹ Письмо к ней же от 9/21. X. 1870 г.—Там же, 267.

²² Письмо к ней же от 15/27. X. 1870 г.—ЛБ, 7807. В «Старине и Новизне», XXII, 268, эти строки пропущены.

- ²³ Письмо к Пфеффелю от 25. X/6. XI. 1870 г.—«Старина и Новизна», XXII, 291. Цитирую по подлиннику, принадлежащему Н. И. Тютчеву.
- ²⁴ Неизданная заметка о Тютчеве.—МА.
- ²⁵ Письмо от конца февраля—начала марта 1871 г.—МА.
- ²⁶ МА.
- ²⁷ МА.
- ²⁸ Письмо от 7/19. V. 1871 г.—МА. Подлинник по-русски.
- ²⁹ Письмо к А. Ф. Аксаковой от 27. III/8. IV. 1871 г.—МА.
- ³⁰ М а р к с К., Избранные произведения, Партиздат, 1935, II, 415.
- ³¹ Письмо Пфеффеля к Тютчеву от 7. XI. 1870 г.—МА.
- ³² См. письмо Э. Ф. Тютчевой к Пфеффелю от 19. XI/1. XII. 1870 г.—МА.
- ³³ М а р к с К., Избранные произведения, Партиздат, 1935, II, 308.
- ³⁴ V a s i l i (Paul), comte, La Société de Saint-Petersbourg, 6-e éd., P., 1886, 301.
- ³⁵ См. депешу французского поверенного в делах в Петербурге Габриака от 19. I. 1871 г.—Сборник «Парижская коммуна», 212.
- ³⁶ Т а м же, 222.
- ³⁷ Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой.—МА. Цитировано в книге И. С. Аксакова «Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, 163.
- ³⁸ Долгоруков П. В., Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта, М., изд. «Север», 1934, 279.
- ³⁹ Письмо Трубецкой к Горчакову от 30. XII/11. I. 1862 г.—ГАФКЭ.
- ⁴⁰ Письмо Трубецкой к Тютчеву от 21. V. 1873 г.—МА.
- ⁴¹ Письмо к нему же от 4. III. 1873 г.—МА.
- ⁴² Заметка кн. К. А. Горчакова, приложенная к письмам Трубецкой к А. М. Горчакову.—ГАФКЭ.
- ⁴³ Письмо от 15/27. VII. 1872 г.—МА.
- ⁴⁴ Письмо от 22. IX/4. X. 1872 г.—МА.
- ⁴⁵ См., напр., письмо Горчакова к Трубецкой от 10/22. IV. 1864 г.
- ⁴⁶ МА.
- ⁴⁷ Извлечено Б. М. Энгельгардтом из бумаг Трубецкой, хранящихся в Институте литературы Академии наук СССР, Ленинград.
- ⁴⁸ Неточно приведенная строка из послания Вольтера к Екатерине II («Elève d'Apollon, de Thémis et de Mars»): «C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière» («Ныне свет воссиял нам с Севера»).
- ⁴⁹ МА.
- ⁵⁰ МА.
- ⁵¹ Плиний-старший, знаменитый римский естествоиспытатель, погиб во время извержения Везувия в 79 г.
- ⁵² Извлечено из бумаг Тьера, хранящихся в Национальной библиотеке в Париже.
- ⁵³ Извлечено из бумаг Тьера.
- ⁵⁴ «Journal de St.-Petersbourg» от 17/29. IV. 1873 г.
- ⁵⁵ Письмо к Горчакову от 21. IV/3. V. 1873 г.—«Литературное Наследство», вып. 19—21, 252.
- ⁵⁶ Письмо к Трубецкой от лета 1872 г.—МА.
- ⁵⁷ ЛОЦИА. Фонд: Главное управление по делам печати, II отд., 1871 г., д. № 154, лл. 331—339. Von Bock Вольдемар (р. 1816)—лифляндский публицист; в конце 60-х годов издал в Берлине несколько выпусков «Livländische Beiträge», в которых полемизировал с Ю. Ф. Самариным по поводу его книги «Окраины России». Бокк являлся также автором книги «Der deutsch-russische Konflikt an der Ostsee», Leipzig, 1869, и др. Eckardt Юлиус (1836—1908)—уроженец Лифляндии, переселившийся в Германию и редактировавший там ряд периодических изданий. При жизни Тютчева вышли отдельными изданиями следующие труды Эккардта: «Die baltischen Provinzen Russlands» (1869), «Jungrussisch und altlivländisch» (1871) и «Russlands ländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeigenschaft» (1870) и др. Schirren Карл-Христиан-Гергардт (1826—1910)—остзейский историк, отстаивавший немецкие интересы в Остзейском крае; с 1859 г. занимал кафедру истории в Дерптском университете; смещен в 1869 г. за брошюру, направленную против политики русского правительства в Остзейском крае.
- ⁵⁸ Письмо к жене от 18/30. VIII. 1854 г.—«Старина и Новизна», XIX, 129—130.
- ⁵⁹ «Биография Ф. И. Тютчева», op. cit. 134.